

Редакционная коллегия:

Б. И. Козлов (главный редактор),
В. В. Бабков, Е. Н. Будрейко (ответственный секретарь), Вл. П. Визгин, В. А. Волков,
В. Л. Гвоздецкий, В. Г. Горохов, С. С. Демидов, Ю. А. Жданов,
С. Г. Кара-Мурза, В. П. Карцев, С. П. Капица, В. Ж. Келле,
В. И. Корюкин, В. И. Кузнецов, Н. И. Кузнецова (зам. главного редактора),
А. М. Кулькин, Л. А. Маркова,
С. Т. Мелюхин, В. М. Орел, С. Я. Плоткин, Л. С. Полак, А. И. Половинкин,
Б. В. Раушенбах, И. А. Резанов, В. Н. Сокольский, А. Л. Тахтаджян,
Д. Н. Трифонов, А. Н. Шамин, Б. Г. Юдин, М. Г. Ярошевский

Номер набран и сверстан на электронном оборудовании
Института истории естествознания и техники РАН

НОМЕР ГОТОВИЛИ:

редакторы Куликова Марина Владимировна, Курбатова Елена Сергеевна;
редактор международного отдела Стручков Антон Юрьевич,
компьютерный набор — Виленкина Елена Николаевна,
оригинал-макет — Алексеев Константин Игоревич

Заведующая редакцией Г. Н. Савоськина

Подписано к печати 18.11.94 Формат бумаги 70×100 1/16
Офсетная печать. Усл. печатн. л. 14,3 Усл. кр.—отт. 13,7 тыс. Уч.—изд. л. 18,0 Бум. л. 5,5
Тираж 940 экз. Заказ 1905

Адрес редакции: 103012, Старопанский пер., 1/5
телефон: 928—1190, Fax: (095) 925—9911, E-mail: VIET@ihst.msk.su

Московская типография № 2 ВО «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

© Издательство «Наука»,
«Вопросы истории естествознания и техники», 1994 г.
При перепечатке, переводе на иностранные языки,
а также при ином использовании оригинальных материалов журнала
ссылка на ВИЕТ обязательна.

Методологические проблемы историко-научных исследований

Д. А. АЛЕКСАНДРОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ НАУКИ В РОССИИ*

В соответствии с темой семинара, в настоящей работе я сосредоточусь на одном из подходов, который развивается в современной социальной истории науки и кажется мне наиболее перспективным. Я рассмотрю этот подход в приложении к российской науке, выбирая сюжеты из истории XIX—XX вв., наиболее близкие к моим собственным исследованиям. Речь пойдет только о тех темах, которые уже разрабатываются: идет освоение архивных материалов, собирается устная история, нащупываются проблемы и выдвигаются гипотезы.

Пять лет назад, в начале «золотой лихорадки» социальной и политической истории советской науки, вызванной гласностью и перестройкой, мы с Н. Л. Кременцовым написали своего рода манифест молодых социальных историков науки. В нем мы пытались определить с нашей точки зрения наиболее «золотоносные» темы и дать абрис возможных разработок [1]. Планируя настоящий семинар, Лорен Грэхэм попросил подготовить новый вариант той статьи, своего рода — «Пять лет спустя». За это время мои представления о том, что является передним краем исследований и горячими темами в истории российской науки, сильно изменились. Тем не менее настоящий доклад имеет такой же жанровый характер: он сосредоточен не на подведении итогов, а на постановке вопросов.

Историческая антропология

Перспективное направление в истории российской науки, за которым я вижу будущее, отражено в названии доклада. Для российского историка историческая антропология известна по работам А. Я. Гуревича и ассоциируется с «новой исторической наукой» в Европе — работами Карло Гинзбурга, Эмманюэля Леруа Ладюри, Жака ЛеГоффа, Кита Томаса, Питера Бёрка и других исследователей. Надо заметить, что отечественные авторы выдвигают на передний план изучение менталитетов, тем самым сужая историческую антропологию [2, 3]. Само направление гораздо шире, включая в первую очередь изучение разнообразных форм быта и социальных практик. Именно таково понимание термина у Питера Бёрка, в этом видят единство антропологии и современной истории известные историки Э. П. Томпсон и Натали Земон Дэвис. Я бы назвал подход, отраженный в их публикациях, «умеренной программой» антропологизации истории [4, 5].

* Предлагаемая работа была представлена в качестве доклада на российско-американском семинаре «Новые направления в истории и социологии науки и техники» (Санкт-Петербург, 23 июня 1994 г.), в серии семинаров «Наука и техника с человеческим лицом», организованных профессором Лореном Грэхэмом (Массачусетский технологический институт, США), и проведенных благодаря гранту Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Я признателен профессору Грэхэму за приглашение подготовить настоящий доклад.

Я хотел бы поблагодарить А. В. Бекасову, Г. Е. Горелика, Ю. А. Лайус, А. В. Смирнова, А. Ю. Стручкова и Ф. Р. Штильмарка за разговоры, в которых они делились со мной своими сведениями и соображениями. А. Б. Кожевникову я благодарен за возможность ознакомиться с текстом его неопубликованного доклада.

Историческая антропология подчеркивает значение качественного подхода, занимаясь углубленным изучением исторического контекста.

Как отметил Питер Бёрк, работы этого направления «микроскопически детальны и сосредоточены на небольших сообществах... в целях достижения большей глубины, а также лучшей передачи цвета и жизни». Историческая антропология изучает не столько культурный символизм вообще, сколько роль символизма в повседневности, сосредоточиваясь на изучении быта, «тривиальной рутины», поддерживающих определенное мировоззрение. Описание определенного общества дается в понятиях, отражающих нормы и понятия самого общества, — то, что вслед за Клиффордом Гирцем называют «*thick description*» (насыщенное описание). Микросоциальные и микроисторические исследования исторической антропологии противопоставляются традиционному макроподходу, восходящему к Марксу и Веберу. Обсуждение всех этих особенностей исторической антропологии Питером Бёрком весьма напоминает многие современные тексты по социологии и истории науки [6, с. 3—7].

Антропологический подход в социологии и истории науки уже имеет солидный возраст. Появление новых направлений в антропологии вызвало ответную реакцию в близких социальных науках. Новаторские работы Мэри Дуглас, Клиффорда Гирца, Пьера Бурдьё были опубликованы более двадцати лет назад, и увлечение социологов науки этими работами не заставило себя долго ждать. Путь к антропологизации исследований науки прокладывали, с одной стороны, работы Дэвида Блура, с другой — Бруно Латура, с третьей — к этому же вело увлечение этнометодологией Г. Гарфинкеля. Историки вскоре последовали за социологами. Появление направления отмечает публикация сборника с подзаголовком «антропологические и исторические исследования науки» [7].

Количество работ о науке, написанных под влиянием антропологии, очень велико, и обсуждать их в деталях не входит в намерение автора настоящего доклада. Среди разнообразия таких работ видны два уклона, которые можно условно назвать этнографическим и историко-антропологическим. Первый характеризуется непосредственным переносом этнографического языка в сферу социологии науки. Исследователь использует эффект «остранения» и добивается свежего взгляда на вещи, подходя к ученым, как к неизвестным чужакам, и используя при описании сочные этнографические термины и метафоры. Работы второго типа практически лишены этнографического антуража и не используют прием «остранения» материала. Такие работы сторонники первого уклона характеризуют как не более чем «*ethnographically informed*» (этнографически информированные). Исследователи этого направления, в основном историки, просто изучают отношения повседневности, определяющие динамику науки*.

Направление, названное мною историко-антропологическим, развивалось в связи с исторической антропологией в работах общих историков и соответствует «умеренной программе» антропологизации истории. Оно и представляется мне имеющим наибольшее будущее. Споры о релятивизме и объективности, роли интересов в науке, «конструировании фактов» и т. п. уже уходят в прошлое. От них остается главное, усвоенное новыми поколениями историков, — *интерес к детальному изучению форм научной жизни*. Эта исследовательская установка и составляет основу исторической антропологии науки.

Интересно, что историко-антропологические исследования, при всей их попу-

* Яркие примеры этнографического уклона — работа Шарон Травек о повседневной жизни физиков высоких энергий и свежая дискуссия вокруг работы Пнины Абир-Ам о ритуалах научных юбилейных празднований [8, 9]. Из множества работ второго направления упомяну в качестве иллюстрации уже ставшие классическими работы Стивена Шейпина и Саймона Шеффера, а также современные работы Марио Бьяджоли о Галилее и Роберта Коулера о генетиках-дрозофилистах [10—13]. В последней работе нет и следа этнографизма, но ее предмет — научный быт, в котором укоренены концептуальные различия отдельных ученых и дисциплин.

лярности, подвергаются критике как со стороны «интерналистов», так и со стороны «экстерналистов». Работы, посвященные патронажу науки или детальному изучению лабораторных практик, все еще критикуются «интерналистами» как работы, доказывающие социальную конструированность научного знания. С другой стороны, ревнители современных трактовок темы «наука и общество» и социальной и культурной критики науки и общества обвиняют исследователей практик науки в возрождении интернализма, в уходе от острых проблем к искусственно детализованным описаниям лабораторной жизни. И то, и другое бьет мимо цели.

На деле работы описываемого направления находятся в другой плоскости, за пределами споров о конструктивизме или интернализме. Они сосредоточены на изучении того, как жили и живут ученые, и каково значение того, что они делают, в той культуре, к которой они принадлежат. Вопрос не в том, как связи с патроном определяют содержание открытия, а в том, какое значение имеют научные открытия в соответствующей культуре. *Цель исследования не в том, чтобы ДОКАЗАТЬ, ЧТО содержание теории социально определено, а в том, чтобы ПОКАЗАТЬ, КАК повседневная деятельность людей, в данном случае ученых, связана с их взглядами. Собственно говоря, цель — изучать науку как быт людей, именующих себя учеными.*

Научный быт как предмет истории науки

Итак, согласно рассматриваемому подходу, предметом истории науки должен стать научный быт. Что это такое? «Быт» — слово, означающее «уклад жизни, совокупность обычаев, привычек, нравов и т.п., характеризующих какой-нибудь народ, общественный слой, группу». Слово это не поддается простому переводу на другие языки. Возможный английский перевод как «*everyday life*» или «*forms of everyday life*» лишает слово свойственного ему в русском языке семантического ореола. Многословное сочетание «*forms of everyday life routine*» отчасти передает представление о быте как привычном автоматизированном существовании: «засосал быт», «он поглощен бытом» и т. д. Искусство и наука, в соответствии с расхожими романтическими образами, противопоставляются быту. Вместе с тем *наука есть лишь совокупность форм повседневной жизни, которой живут люди, именующие себя учеными.*

Научный быт — уклад жизни, совокупность обычаев, привычек, нравов ученых. Чем менее осознаны привычки (от повседневного словоупотребления до приемов лабораторной техники), тем более существенны они в определении схем повседневной жизни, или, используя термин Пьера Бурдьё, «*habitus'a*». Бурдьё под «*habitus'ом*» понимает систему отношений, определяющих повседневную деятельность человека, его практическое существование в повседневности, и делающих это практическое поведение осмысленным. В слове «*habitus*» (французское *habitus* — внешний вид, но ср.: *habiter* — обитать, проживать, *habitude* — привычка, навык, повадка) отражается не только узнаваемость набора практик по внешнему виду и поведению человека, но и семантика, свойственная русскому понятию «быт». Речь идет о структурах накопленного индивидуального и исторического опыта, которые порождают повседневные практики, свойственные определенным группам людей: использование пространства и движение в нем, телесное поведение и т. п. [14]. Современные исследователи лабораторной науки (начиная с Бруно Латура) изучают именно лабораторный быт. Любой исследователь, лично знакомый с культурой полевой или лабораторной работы, знает, насколько жестко повседневная деятельность ученого определяется усвоенными навыками, привычками и обычаями. Отношения власти и подчинения в науке также являются частью научного быта: от повседневного общения с дирекцией института до привычек включения руководителей и/или администраторов в число авторов статьи. В большинстве своем эти отношения регулируются правилом

привычки и обычая, выраженном в словах «так принято». Феномен привычного существования во всех его аспектах я и называю научным бытом.

Российский читатель может черпать идеи и новые подходы не только в англо-американской истории науки или французской социологии. Полезно обратиться к отечественной теории и истории литературы. Само представление о «научном быте», которое я развиваю, связано с концепцией «литературного быта» Б. М. Эйхенбаума и с историко-социологическим анализом жанров, проделанным Ю. Н. Тыняновым. Новаторский социологический подход русских формалистов почти забыт и совершенно не оценен [15, 16]. Подход формалистов к литературе настолько похож на современный подход социологов к науке, что этому стоит уделить немного места.

Первое открытие формалистов состояло в том, что литературное произведение сделано, сконструировано и изготовлено — как любой другой продукт. «Мы знаем <...> как „Дон Кихот“ и машина сделаны» — было лозунгом Виктора Шкловского, формалиста и любителя автомашин. И хотя формалисты искали законы чистой литературной формы, коварное сравнение с машиной и разговоры о литературной технологии вводили в их построения необходимость социологии. Любой продукт производится не в вакууме, а в социуме.

Формалисты обратились к изучению микросоциума литературного производства, противопоставив свой подход социологии литературы своего времени. Эйхенбаум резко критиковал «литературных „социологов“», использующих «...две возможности, которые уже достаточно использованы и никакой новой историко-литературной системы не создают: анализ произведений с точки зрения <...> идеологии писателя (пусть чисто психологический...) и причинно-следственное выведение литературных форм и стилей из общих социально-экономических и хозяйственных форм эпохи (например, поэзия Лермонтова и хлебный вывоз в 30-х гг.) — путь, который неизбежно лишает литературную науку и самостоятельности, и конкретности...» [15, с. 432]. Формалисты, в отличие от многих современных социологов науки, не хотели терять при анализе самостоятельность литературы и специфику, отличающую литературное производство от других его видов. Произведение, конечно, сделано, как любой другой продукт, но это именно литературное произведение, а не машина. Следовательно, и среда производства — литературная среда. Так возникает изучение литературного быта.

Влияние среды на литературу следует искать на уровне ее повседневного существования, утверждали формалисты. В XVIII в. литература существовала при дворе, поэзия была предназначена для декламации в обширных дворцовых залах. Перемещение литературной жизни из дворцовых зал и комнат в частные апартаменты, в кружки и салоны вызвало перемену литературных направлений и жанров. В начале XIX в. именно кружки и салоны стали средой, в которой формировалась литература. Затем пришла пора профессионализации литературы, появились редакции толстых журналов, вокруг которых группировались литераторы. Только преломляясь через эту непосредственную среду обитания литературы, влияние общества в целом доходило до нее.

Начатые, но вскоре прерванные, социологические поиски формалистов очень близки современным исследованиям научной деятельности и научной литературы в их социальных микроокружениях. Историкам науки в России полезно знать параллельные направления в истории русской литературы и культуры. К примеру, нет сомнения, что эволюция от придворной культуры к культуре кружков и салонов затронула не только литературу, но и науку. Под влиянием формалистов я начал исследование истории научных кружков в России. От Д. И. Менделеева до А. Ф. Иоффе, от 1850-х до 1920-х гг. почти все известные ученые России в той или иной мере участвовали в жизни научных кружков, оставив множество свидетельств и воспоминаний. Ниже приводится лишь краткая выжимка из всего антропологического исследования кружковой культуры.

Кружки как форма научного быта

Начало было положено политическими кружками. Развиваясь от литературных салонов начала XIX века, кружки становятся все более и более политическими уже в 1820-х и 1830-х гг. К 1840-м гг. домашние интеллектуальные кружки становятся существеннейшей частью быта образованной публики, особенно молодой. Полная невозможность публичного обсуждения социально-политических вопросов привела к формированию устойчивой культуры домашних политических кружков. Научные кружки, соединявшие обсуждение политики и науки, появились в 1850-х гг. Начиная с этого времени, можно проследить существование устойчивой культуры научных кружков вплоть до 1920-х гг. Интересно, что в Петербурге один человек — А. Н. Бекетов — демонстрирует преемственность кружковой культуры от 1840-х, когда молодые братья Бекетовы были центром политического кружка, до 1880-х и 1890-х гг., когда пожилой Бекетов ходил на заседания студенческого кружка «маленьких ботаников».

Феномен «кружка» и само слово характерны для русской культуры. Во многих англоязычных работах оно непосредственно транслитерируется и используется как термин — «*kruzhok*». «Кружок» — группа лиц, собирающаяся вне официальных стен, связанная дружбой и общими постоянно дебатруемыми интеллектуальными интересами вне, сверх и помимо официальных предписаний. Это старое и оригинальное понимание кружка коренным образом отличается от более позднего, современного нам. Все студенческие научные кружки советских вузов, как мы знаем, собирались в стенах вузов. Приведенное мною понимание того, что такое кружок, характерно для всей дореволюционной эпохи. В стенах университета будет собираться студенческое научное общество, а кружки собираются дома.

Для русских ученых типично противопоставление официальной, казенной «ненастоящей» и неофициальной «настоящей» науки. Это противопоставление, постоянно звучавшее при обсуждении реформ науки в СССР и России, восходит ко второй половине XIX века. «Кружковая» организация повседневности создавала и воспроизводила стереотипы, которыми до сих пор живут русские ученые. Есть и другие особенности русской научной культуры, которые, по моему мнению, возникли благодаря российской кружковщине.

Как известно, в русском языке (*ergo* и в русской культуре) нет аналогов характерной для англоязычного мира оппозиции «*public*» и «*private*». Тем не менее в культуре кружков ярко выражено практическое противопоставление «*public space* — *private space*» как противопоставление «казенного» и «домашнего», пространства официальных учреждений и пространства дружеских встреч. Кружок собирается у кого-то дома, где сами стены создают атмосферу открытости и непринужденности. В стенах официальных учреждений могут проводиться лишь казенные мероприятия — официальные семинары, конференции и т. п.

Это противопоставление имеет важные последствия по отношению к науке и ее положению в обществе и жизненном мире ученых. Если в немецкой культуре (на которую ориентировались многие ученые России) наука была предметом публичного дискурса в пределах пространства научных учреждений, то в России наука стала предметом как публичного, так и частного дискурса. Более того, русский ученый «настоящие» разговоры-споры помещает преимущественно в пределы «частного» пространства. При этом «частное» понимается как «домашнее», «дружеское» и т. п.

Приведу конкретный пример кружка в среде ученых-биологов, чтобы воспользоваться живыми свидетельствами для иллюстрации моих положений. Одним из самых известных в истории науки был генетический кружок С. С. Четверикова в Москве 1920-х гг., так называемый «Соор». Деятельность кружка и его организатора многократно описана в литературе [17—20]. Организатор «Соора» в своих воспоминаниях противопоставлял казенную атмосферу ученых собраний

живой активности домашнего научного кружка. Он пишет о заседании ученого совета: «На кафедре докладчик размеренным и довольно монотонным голосом в течение 30—40 минут докладывает. После него выступают 2—3 человека и желающих больше нет. <...> все встают с облегчением... Начинаются вопросы <...> о том, где проходил отпуск и нигде ни слова о только что слышанном. <...> в общем — полнейшее равнодушие и безразличие». Этой картине он противопоставляет другую: «Несколько (немного) друзей и знакомых собрались к одному из них в гости. Все сидят в уютной домашней обстановке. На столе приветливо шумит самовар, а между гостями возникает общая беседа, часто на неожиданную научную тему, и в этой беседе все присутствующие принимают посильное участие, спорят, перебивают друг друга, <...> и когда, наконец, все собираются расходиться, то каждый чувствует, что в его голове зародились новые соображения, которые требуют времени и труда для своей переработки». Сам Четвериков для своих учеников хотел «соединить в какой-либо форме и научность, и систематичность обсуждаемой тематики, сохраняя при этом все положительные стороны непринужденной беседы не в холодных стенах учреждения, а в уютной обстановке домашнего очага» [21, с. 72—73]. Научные и философские споры «за чаем» воспринимались как русское явление и самими русскими участниками, и их зарубежными коллегами. Четвериков писал: «...жизнь немецкой молодежи по сравнению с нашей русской бесконечно мелка и мешанина. Ни разу не пришлось мне слышать, а тем более принимать участие в разговорах, затрагивающих большие человеческие проблемы. Все вертелось вокруг <...> мелких интересов, обсуждались костюмы знакомых барышень, рассказывались всевозможные анекдоты и, конечно, большую роль играли „пивные кружки“ и „пивные кружки“» [21, с. 52].

Немецкий генетик Рихард Гольдшмидт вспоминал о своих русских коллегах в Мюнхене: «Они познакомили меня <...> с русскими „мальчишниками“... Это означало сборище, продолжающееся почти всю ночь, вокруг кипящего самовара, с бесчисленными чашками чая и тонкими самодельными русскими сигаретами; возбужденными спорами о всех проблемах неба и земли, иногда глубокими и философскими, иногда эмоциональными и сентиментальными, но всегда интенсивными и впечатляющими» [22, с. 108]. Во многих свидетельствах разных ученых о разных кружках можно видеть, что «домашнее сборище за чаем» противопоставляется как «официальному собранию в казенном помещении», так и «дружеской встрече в пивной или кафе».

Кружок в описанной форме неизбежно оказывается основан на исключении «посторонних» людей. Если собрания в учреждении или пивной (в пределах *public space*) потенциально открыты для всех желающих, то домашняя форма встреч (в пределах *private space*) неизбежно проводит границу между приглашенными и неприглашенными. Четвериков писал о своем кружке: «...пожалуй, главное — это то, чтобы на эти Сооры собирались люди, тесно связанные между собой по тематике своей работы, и чтобы посторонние Соору люди не мешали горячему обсуждению» [21, с. 72]. Прием в кружок проводился при тайном голосовании и одного голоса против кандидата было достаточно для его недопущения к работе семинара.

Столкновение кружковой формы научного быта с новыми формами повседневности и с новыми поколениями ученых произошло во время Культурной революции. Пример «Соора» весьма характерен и в этом отношении. В 1929 г. С. С. Четвериков был арестован и сослан, его группа молодых генетиков разогнана — несколько молодых людей были исключены из аспирантуры и вынуждены были временно покинуть Москву. В рамках настоящего доклада я не буду вдаваться в детали конфликта, которые достаточно полно описаны в литературе [17, 18, 23]. Сам конфликт был столкновением молодых ученых из группы Четверикова и молодых партийцев и профсоюзных работников, появившихся в это

время в институте. Арест руководителя группы был вполне «естественным» следствием молодежного конфликта в условиях того времени.

Для меня важно, что среди многих беспартийных сотрудников института, в котором работали Четвериков и его группа, на конфликт с новыми «кадрами» вышли именно члены кружка. В устной истории института постоянно возникал один мотив — арест Четверикова произошел по доносу людей, обиженных тем, что их не приняли в «Соор». Обоснованность этого мотива (а никаких подтверждений ему нет) не имеет значения. *Важнее то, что устная история схватила социальную основу конфликта, дав ей конкретно-бытовое выражение.*

Такая замкнутая форма научного быта, как описанный кружок, уже была несовместима с новыми формами научной повседневности. А ее «исключительность» вызвала дискриминированных новых членов сообщества на конфликт. Партийно-профсоюзная молодежь и так чувствовала себя маргиналами в «старорежимных» научных учреждениях. Как известно, во многих аспектах Культурная революция была борьбой этой молодежи за статус, против дискриминации.

Более того, можно отметить, что сила исторической традиции, которой была заряжена описанная форма научного быта, — происхождение ее из политических и тайных сборищ, — сработала в условиях Культурной революции. Общее усиление политической напряженности актуализовало старое политическое значение всех диспозиций: противопоставлений «публичного» и «тайного», «общедоступного» и «закрытого».

Патронаж науки

Тема «ученые и власть», неизбежно затронутая в примере с Четвериковым, получила в отечестве огромную популярность. По российским привычкам тема эта имеет лишь одно измерение — государственное. Власть — у государства, ученые же могут лишь страдать от нее, сопротивляться ей, или, в лучшем случае, ее как-то использовать. Две модели и два уровня анализа отношений власти и управления исчерпывают арсенал российского науковедения: лидерство в коллективах и государственно-политическая власть, контролирующая науку. Едва ли не единственное исключение — работа А. Б. Кожевникова по научным школам в физике, докладывавшаяся на семинарах и конференциях. Его работа намеренно этнографична по способу подачи материала и использованию терминов. На материале физики он показывает, что понятие «школа» в российском дискурсе ученых является именем для властных структур. Создание образа «научной школы» легитимизирует патерналистские структуры власти и взаимозависимости в науке.

На материале российской науки совершенно не изучены как тонкие отношения власти и влияния в самой науке, так и многоступенчатые структуры власти и взаимозависимости (то, что Норберт Элиас назвал фигурациями) в отношениях ученых и аристократии, промышленников или партийных боссов, роль патронажа в науке. Изучение роли патронажа науки и в науке может пролить совершенно новый свет на проблему «ученые—власть». Патронаж — оказание поддержки в обмен на те или иные «дары» — бытовая сторона науки в разные эпохи*.

Для читателя, не знакомого с социологическими концепциями патронажа, надо отметить, что «дары» могут быть и преимущественно бывают нематериальные, символические. Обычно патрон поддерживает деятелей искусства и ученых, получая в обмен повышение социального статуса в какой-либо среде, с которой он референтно соотносится. Важно подчеркнуть разницу между «хозяином» и «пат-

* В качестве введения в тему можно посмотреть о патронаже в начале Нового времени работы Марио Бьяджоли и Брюса Морана, а о патронаже науки при переходе к XX в. — монографию Пейтера Альтера о Британии [12, 24—27].

роном»: хозяин имеет непосредственные и материальные выгоды, патрон же получает поддержку и повышение статуса, а материальные выгоды, если и следуют за этим, то обычно много позже и не непосредственно от клиента. Промышленник вкладывает деньги в организацию конструкторского бюро потому, что получит рост производства. Отдавая деньги на создание научного института, он не получит денег сразу, но его престиж вырастет, а практический выход будет делом далекого будущего.

И абсолютный монарх Людовик XIV, и провинциальный германский князь создавали академии или держали при дворе ученых потому, что это повышало их международный статус просвещенных монархов и придавало им «абсолютности» и блеска внутри страны. Современные государства поощряют науку как ради военно-промышленных выгод, так и из-за международного престижа. Историческая смена личного патронажа аристократов на патронаж ассоциаций (например, группы промышленников) и, наконец, на патронаж государства, не меняет социальной схематики отношений, лежащих в его основе.

Патронаж часто трактуется и более узко — как система личных отношений патрона и клиента, возникающих в политических системах. Так и внутри государственного обеспечения науки могут складываться клиентелистские отношения, когда конкретные ученые имеют личные связи и высоких покровителей в правительстве и политической системе. Наконец, сами ученые, занявшие ключевые посты, могут выступать патронами для множества молодых ученых. Возникают длинные цепочки подобных отношений. Лиц, которые умеют обеспечить передачу просьб патрону, и организуют этот приводной механизм между патроном и клиентом, называют в специальной литературе брокерами. Эволюция патронажа идет от непосредственных дружеских, но неравных, связей двух лиц к сложным цепям взаимозависимых отношений патрон—брокер—клиент.

История патронажа науки в России — тема обширная и благодарная. Я остановлюсь лишь на одной из глав этой темы, наиболее простой и традиционной, — аристократическом патронаже науки в царской России. Изложенные ниже иллюстрации являются извлечением из нашей работы с А. В. Бекасовой.

В России XVIII в. наука была придворным институтом — как и в большинстве стран Европы того времени. Отношения науки и власти в России этого времени более всего похожи на таковые в Германии. В Англии ученые были значительно более независимы, Королевское общество образовалось как свободная ассоциация (*The Great Club*). Во Франции Академия сложилась как часть государственной системы в абсолютной монархии — недаром она фактически была создана министром Кольбером. В Германии и в России академии — часть двора*. В Германии и в России царствующие особы ходят на заседания, ученые так или иначе участвуют в придворной жизни. Сходство это неудивительно, так как и ученые, и царствующие особы в России XVIII в. были преимущественно носителями немецкой культуры. Как царствующие особы, так и ученые большею частью происходили из Германии. Однако последующее развитие России и науки в ней существенно отличались от Германии.

Царская Россия вплоть до революций 1917 г. оставалась абсолютистской монархией, в которой Романовы были самыми крупными землевладельцами и самой богатой семьей страны. Если в Германии *Kaiser Wilhelm Gesellschaft*, официально патронируемое самим кайзером, было организовано на деньги предпринимателей, то в России не было таких предпринимателей, которые могли бы и хотели бы вкладывать деньги в науку. Если в Германии инициатором организации Физико-технического института был Вернер фон Сименс, то в России первый большой исследовательский институт — Институт экспериментальной медицины — был создан в 1891 г. по инициативе Его Императорского Высочества герцога Ольденбургского.

* Яркие примеры этому даны в прекрасной книге Ю. Х. Копелевич [28].

Для российской науки XIX в. был типичен патронаж отдельных дисциплин «практикующими вельможами» или, по крайней мере, «учеными аристократами», примером которых служат семьи Ольденбургских и Лейхтенбергских. Герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817—1852), зять Николая I, был не только президентом Академии Художеств, но также возглавлял Горный институт и был членом ученого комитета Корпуса горных инженеров. При этом он же организовал в своем дворце лабораторию по гальванопластике и электрохимии, лично проводил в ней эксперименты и опубликовал несколько научных заметок. Патронаж горного дела и геологии от него «унаследовал» его сын. Николай Максимилианович (1843—1890), получивший обширное домашнее образование, под влиянием одного из учителей увлекся минералогией. Этим учителем был профессор Н. И. Кокшаров, начавший свою карьеру, работая с Р. Мёрчисоном над геологической картой России. Как только в 1865 г. Кокшаров стал директором Минералогического общества, почетный пост президента общества был предложен его высокородному ученику. Когда же герцог Николай Максимилианович скончался, президентом Минералогического общества стала его сестра, никакого уже отношения к минералогии не имевшая, но продолжавшая традиции семьи. Остается добавить, что Евгения Максимилиановна была женой герцога А. П. Ольденбургского, организатора Института экспериментальной медицины.

Организация патронажа за счет личных связей с высокородными учениками была, по-видимому, типичным явлением. Президентом Географического общества при его организации стал великий князь Константин Николаевич, сын Николая I. Воспитание его в детстве было поручено военному моряку и путешественнику Ф. П. Литке, одному из будущих организаторов общества. При наличии высокородного ученика затея была обречена на успех, а ученик — на президентство. Константин был также президентом Русского археологического и Русского музыкального обществ. Сын его, великий князь Константин Константинович, известный в свое время поэт (вошедший в литературу под псевдонимом К. Р.), был президентом Академии Наук в 1889—1915 гг.

Еще одним важным патроном наук был великий князь Николай Михайлович (1859—1918), автор многих работ по истории и редактор большого числа исторических и историко-художественных изданий. Он же собрал гигантскую коллекцию бабочек, над обработкой которой трудилась небольшая группа ученых, и выпускал под своей редакцией «*Mémoires*» по лепидоптерологии и печатал в них свои статьи. Охладев к энтомологии, он подарил свою коллекцию Академии наук и сосредоточился на истории и истории искусства. На рубеже XIX—XX вв. он состоял президентом Русского исторического и Русского географического обществ, а также помологического общества.



Великий князь Николай Михайлович, как и все члены царского дома, был гвардейским офицером. Однако, по словам его брата, великого князя Александра Михайловича, он не мог найти общего языка с офицерами своего полка — ему было проще разговаривать с коллегами-историками из *College de France*.

На Высшем...

11-12 22 1909

Этого краткого перечисления имен и названий обществ достаточно, чтобы очертить картину науки и власти в России XIX — начала XX вв. Небольшая группа родственников патронировала науки и искусства в России — от Академии наук до помологического общества. Существенной чертой патронажа науки в России была непосредственная вовлеченность членов царствующего дома в деятельность научных учреждений. Патрон не только должен был курировать учреждение и дисциплину, он должен был их возглавлять. При этом в научных учреждениях разделялись должности директора или председателя, и президента.

После стабилизации династии Романовых в конце XVIII в. число членов императорской семьи росло по правилам прогрессии населения. Еще в начале XIX в. учреждения возглавлялись назначенными лицами из числа придворных, осуществлявшими связь ученых с двором абсолютного монарха. С ростом числа великих князей уменьшается их статус, и они ищут сферы влияния и патронажа, определяющие их положение в аристократическом социуме. Вместе с тем очевидно и то, что в связи с вовлечением членов царствующего дома в патронаж науки, статус и роль «кураторов» выросли — они сами были патронами учреждений, поддерживая их материально, проводя исследования или осуществляя публикации на свои деньги. Можно, немного упрощая, в пределах царствующего дома различить «две культуры»: одни члены дома были сосредоточены на военной и административно-политической сфере, другие — на сфере культуры и науки. Обращаясь к патронажу наук и искусств, каждый — в соответствии с «эффектом Матфея» — получал под свое покровительство много разных областей одновременно.

После революции «практикующие князья» сменились «практикующими большевиками». Многие правительственные и партийные деятели имели то или иное высшее образование и стремились возглавлять учреждения, связанные с наукой. Ученые не только спокойно работали с ними, но активно и мастерски использовали старые схемы патронажа и брокерства в новых обстоятельствах. Личные связи с сильными мира сего при Центральном Комитете и правительстве играли не меньшую роль, чем при царском дворе.

Самой характерной и ключевой фигурой в 1920-х и начале 1930-х гг. был Николай Петрович Горбунов, секретарь Ленина, управляющий делами Совета Народных Комиссаров. Деятельность Горбунова может быть хрестоматийным примером брокерства в отношениях науки и власти. При Ленине его незаметное влияние пересиливало решение многих государственных органов, в частности, по отношению к финансированию и организации науки. Связи с Горбуновым активно использовались учеными. Он участвовал в руководстве многих научных учреждений, в том числе был председателем Совета в Институте прикладной ботаники, возглавлявшемся Н. И. Вавиловым, и вице-президентом Сельскохозяйственной Академии (ВАСХНИЛ) при президенте Вавилове, а также недолго был Непременным секретарем Академии наук.

Непосредственное должностное участие патрона или брокера в руководстве научным учреждением сохранилось. Подобная практика назначения одного из руководителей несомненно использовалась правительством и партией коммунистов для контроля учреждений. Но она, даже возникая *de novo* из непосредственных нужд власти, для ученых структурно соответствовала ранее существовавшей традиции. Как писала в своих дневниках Е. Г. Ольденбург, жена Непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга, в связи с нежеланием членов Академии выбирать новых академиков-коммунистов: «И как не понять, что был президент великий князь Константин Константинович и Царскому правительству было возможно и понятно иметь свою Академию, почему же Советское правительство не имеет права желать Советской Академии наук?» [29, с. 642].

Повседневность научного учреждения

Как уже говорилось, вопрос о властных отношениях изучается лишь в общем социально-политическом контексте государственного масштаба. При этом теряется повседневное измерение проблемы, включенность отношений власти—подчинения в ежедневную жизнь ученых. Вместе с тем именно на этом уровне власть, в том числе и государственно-политическая, материализуется, воплощается в конкретные формы и меры, которые учат подчинению.

Хорошо известен парадокс советской науки — пора ее расцвета совпадает со временем политического террора. Блестящее развитие физики и химии в сталинской России не вызывает сомнения. Выдающиеся достижения послевоенной советской науки были основаны на ее успехах в 1930-е гг. Нобелевские премии по физике и химии были присуждены ученым СССР после Второй мировой войны за результаты, полученные в 1930-е гг. Расцвет в эпоху террора сменился проживанием достижений при Хрущеве, а затем и упадком эпохи застоя. Большая наука в советском стиле оказалась поразительно неэффективной. Парадоксально и само сочетание взлетов и провалов, эффективности и неэффективности советской науки и техники.

Как мне кажется, ключ к парадоксам большой науки в советском стиле надо искать в повседневной жизни научного учреждения. Повседневность научного учреждения — тема огромная, и я могу лишь сказать несколько слов о том, как начинается изучение этой темы.

Советский стиль взаимоотношений начальства и подчиненного усваивался учеными в ранние годы профессиональной социализации — в университете и в первые годы на рабочем месте. Отношения власти воплощены в организации социального и физического пространства учреждений. Для советской науки характерны недоступность начальника, отделенность пространства власти от общего пространства, система общения через передаточные звенья. Сложная и ритуализованная система власти в учреждениях, подобная системе придворного общества, несомненно имеет два источника. С одной стороны, она сложилась в ходе преобразования науки одиночек в большую науку больших институтов. Это общая тенденция преобразования науки в XX в. Мощное «фабричное» производство знания неизбежно связано с определенными отношениями власти—подчинения, гораздо более дистанцированными и манипулятивными, глубоко отличными от отношений коллег-одиночек. С другой стороны, и советская система наложила на властные отношения в науке свой отпечаток.

Отметим, что в 1930-х гг. властные фигуры в Академии наук были гораздо более доступны, нежели в последующие десятилетия. Судя по воспоминаниям ученых, президенты Академии А. П. Карпинский и В. Л. Комаров были доступнее для рядовых сотрудников Академии, чем директора больших институтов в настоящее время. Сама Академия была невелика, и на уровне повседневной организации управления коренным образом отличалась от современной Академии наук. Существенный перелом в отношениях наступает в конце сталинской эпохи. Период интенсивного становления «большой науки» в СССР совпал по времени с поздне-сталинской эпохой возрождения империи и имперской пышности. Значение науки и имперский характер науки того времени отражены в пышном здании Московского университета на Воробьевых горах, как во внешней, так и внутренней его организации.

Безусловно, изучение не только властных отношений, но и всех отношений повседневности необходимо проводить на конкретных научных учреждениях. Нами вместе с А. В. Смирновым начат проект по истории Зоологического института РАН. Помимо возможности изучить повседневные отношения власти, дружбы и ученичества, в данном случае интересно изучение того, как эволюция дисциплины была связана с бытом и культурой научного учреждения.

Зоология в XX в. прошла путь от музейной дисциплины к современной лабо-

раторной науке. Музей и музейная работа, как и полевые работы натуралистов, представляют формы быта и культуры, глубоко отличные от лабораторного быта большой науки. История экологии — это история преобразования классических зоологии и ботаники в «большую науку», так же связанную с промышленной повседневностью XX в., как и физика. Пути такого преобразования науки в России, как и в других странах, тесно переплетались с политикой.

В 1920-х гг. Зоологический музей сохранял административную организацию и расположение рабочих мест, отражавшие музейные задачи и функции учреждения: хранение и изучение коллекций. Последовательная серия реформ, включавшая слияние музея с Зоологической лабораторией АН в 1931 г., и переименование его в институт, изменила и задачи учреждения, и организацию его научного быта. В учреждении, задачами которого было хранить и консервировать, звучали требования заняться вопросами реконструкции природы и общества. Фактически же эти требования, советские по форме, лишь предвещали общий ход истории. Зоология во всех странах выходила из натуралистических кабинетов и обращалась к проблеме промышленного преобразования природы. В рассматриваемом случае особенность состояла лишь в том, что реформы проходили непосредственно в музейных кабинетах. Реформы привели к возникновению в научном учреждении смеси двух форм жизни — традиционной музейной и свойственной большой науке. Ученым в институте свойственны амбивалентные отношения как к ценностям музейной формы жизни, так и к ценностям большой науки. Случай этого института напоминает традиционное общество, преобразуемое вторгающейся современностью.

Интересные исследования повседневности начаты историками физики. Работа А. Б. Кожевникова, упоминавшаяся в предыдущем разделе, рассматривает отношения власти и авторитета в сообществе физиков и в физических исследовательских институтах. Научный институт предстает в работе Кожевникова как форма существования «кланов» в советской физике. Эта бесспорно оригинальная идея обещает новый поворот в изучении истории научных учреждений. Осуществление большого проекта по «устной истории» атомного и ядерного проектов (Г. Е. Горелик и др.) приводит к накоплению значительного материала о быте научных учреждений особого рода. Быт «номерных» лабораторий и научных городков с их секретностью, закрытостью и поднадзорностью неизбежно вызывает «житейский» интерес историка. Не нужно одевать «этнографические очки», чтобы повседневность секретного научного учреждения показалась достойной изучения.

Практики науки, или «привычка — вторая натура»

Главный аспект быта научных учреждений — воспроизводство научных практик. Деятельность ученого по производству и воспроизводству знания глубоко практична, как и любая другая производительная деятельность. Усвоенные и вырабатываемые приемы деятельности, практический опыт заставляют ученого воспринимать концепции или новые объекты через призму этого опыта. Привычка, нарабатанная практикой, становится «второй натурой» и переносится на первую — Природу.

Вспользуемся для иллюстрации общеизвестным примером — спорами о наследственности в СССР в 1930-х гг. в связи с теориями Т. Лысенко. Они всегда рассматривались исключительно в политическом и идеологическом измерениях. Посмотрим же на некоторые стороны конфликта с точки зрения дисциплинарных практик и дисциплинарного «обыденного знания».

В основе взглядов Лысенко лежало представление о наследственности как общем свойстве живого организма, не сводимом к действию генов-корпускул, расположенных в хромосомах. Другим краеугольным камнем его воззрений была убежденность в адаптивной гибкости организмов, не скованной жесткими зако-

нами хромосомной генетики. Развитие растения легко претерпевает глубокие изменения под влиянием окружающей среды, и, с точки зрения Лысенко, этими изменениями нетрудно научиться управлять.

Отметим тот очевидный факт, что воззрения Лысенко глубоко укоренены в его работе с растительными объектами. Не менее важно то, что Лысенко был по образованию и первым опытом работы не генетик и не селекционер, а физиолог растений. Недостаточное общее образование лишь абсолютизировало те знания и ту практику работы с растениями, которыми владел молодой агроном. Для физиолога растений взгляды Лысенко не отличались оригинальностью. Многие физиологи растений и ботаники в 1920-х — 1930-х гг. полагали, что хромосомная генетика противоречит существующим знаниям о природе растений. Представление о наследственности как свойстве организма в целом, не сводимом к генам в ядре клетки, может быть найдено у многих ботаников того времени, особенно у физиологов растений.

Практика работы ботаника, а особенно физиолога растений, постоянно сталкивает исследователя с гибкостью индивидуального развития растений. Напротив, вся генетическая система практик обращения с объектами подразумевает представление о консерватизме наследственности, управляющей развитием организмов. Упрощая, можно сказать, что не хромосомная генетика «противоречила» физиологии растений, а генетические практики, сложившиеся в опытах на дрозофиле, противоречили бытовому опыту работы физиолога с пластичными растениями. Обыденное, практическое знание о растениях одной дисциплины было глубоко отлично от обыденного знания о растениях другой дисциплины. Такое противоречие практик существовало не только между генетиками и физиологами растений.

Во время атак Лысенко на генетику в 1930-х гг. исследователи, группировавшиеся вокруг Н. И. Вавилова, были далеко не однородны в своих научных пристрастиях. В Институте растениеводства при Вавилове проходили горячие споры о соотношении фенотипа и генотипа, генетической и фенотипической изменчивости. Одну из сторон в этих спорах занимали генетики и цитогенетики (такие как Г. А. Левитский, Г. Д. Карпеченко), другую же — ученые, занимавшиеся эколого-географической изменчивостью растений (например, Е. Н. Синская). Е. Н. Синская, ближайший сотрудник Вавилова, в публичных спорах с коллегами-генетиками заявляла, что в некоторых вопросах специалистам ее профиля ближе точка зрения Лысенко. Действительно, эти концептуальные противоречия были укоренены в различных соответствующих дисциплинарных практиках. Споры были тем более горячими, что они были связаны с обсуждением приоритетов в программе будущих работ института [30, 31].

Вскоре последовали события, все изменившие: арест Вавилова, Карпеченко и Левитского, политический успех Лысенко, политические и административные меры против генетики. Это привело к объединению противников Лысенко, безотносительно к их концептуальным различиям. Споры отошли на задний план, были забыты и не нашли отражения в последующих исторических описаниях. Сейчас история советской генетики подвергается новому анализу, и необходимо рассматривать события 1920-х и 1930-х гг. не только с точки зрения политической истории, но и с точки зрения истории научных практик.

Очевидно, что для полевых дисциплин изучение соотношения практики и теории особенно интересно. Именно к сравнению полевой дисциплины и дисциплины лабораторной, равно как и к сравнению лабораторных и теоретических дисциплин, наиболее продуктивно применение идеи целостного «*habitus'a*» по Бурдьё. Полевой работе свойственны не только наборы научных практик, но и все специфические полевые навыки и практики повседневности, вплоть до определенных привычек в одежде, движении, общении. Габитус полевой работы определяет видение предмета исследования. Вместе с тем и сама практика полевой работы складывается как под влиянием особенностей предмета исследования

(географические особенности изучаемой зоны и т. п.), так и в связи с доступными материальными возможностями. К примеру, работы в морской биологии глубоко различны при работе на морских станциях с небольших лодок и при работе с больших исследовательских судов. Отличия в масштабности исследований приводят к глубокому различию в концепциях организации морских сообществ, к различному пониманию самого предмета морской биологии. Многие концептуальные столкновения в таких полевых дисциплинах, как морская биология и ботаническая география, проистекали из различий в практиках полевой работы*.

Опыт полевой жизни и опыт лабораторной жизни — глубоко различны. *Различные формы быта дают людям совершенно различный опыт повседневности и, тем самым, разные представления о мире.* Здесь возникает необходимость обратиться к понятию «жизненного мира», связывающему опыт повседневности и мировоззрение человека.

Жизненные миры науки

«Жизненный мир» (*Lebenswelt*), одно из центральных понятий феноменологической социологии, введенное Э. Гуссерлем, означает мир повседневности, переживаемый человеком в его пространственно-временной конкретности. Жизненный мир не совпадает с бесконечным миром окружающей нас действительности. Это субъективный мир значений и смыслов, которыми обладают для нас события и явления мира. Переживаемый мир осмыслен и значим, т. е. наполнен смыслами. Не события, действия и явления составляют наш жизненный мир, но приписанные им смысл и ценность**.

Множество политических или социальных аспектов, существенных для одних людей, попросту не существуют для других, живущих с ними в одном обществе и в одно время. Для музыкантов и страстных любителей музыки мир повседневности наполнен звуками и музыкальными произведениями, которые более значимы, нежели сообщения о биржевом курсе акций и индексе Доу-Джонса. Политическое измерение действительности является решающим для одних и совершенно чуждым для других — не все, попросту говоря, разбираются в политике и интересуются ею. Жизненные миры могут быть глубоко различны у политоло-

* Работа по изучению полевых дисциплин начата молодыми исследователями Ю. А. Лайус (морская биология) и И. П. Михеевой (ботаническая география).

** Понятие «жизненный мир», несомненно, стоит в связи с понятием «габитуса» и витгенштейновским пониманием «форм жизни» (*form of life*). Говоря коротко, их можно развести следующим образом: «габитус» — система повседневных практик; «жизненный мир» — система значений и ценностей, приписанных явлениям повседневности. Понятие «габитуса» пытается отразить технику, а «жизненный мир» — смысл повседневного существования. «Форма жизни» представляется мне понятием неопределенным, но интуитивно ясным в каждом конкретном случае, что и придает ему удобство, употребительность и продуктивность.

Употребляя все эти понятия, я не отношу себя к феноменологам и не хотел бы вызывать споры о трактовках философских концепций. Привлекая соответствующие феноменологические понятия, я отбираю в философии только то, что релевантно моему миру социолога и историка. Поэтому предлагаемый подход уместно обсуждать в отношении к данному докладу, а не к философии Гуссерля или Шютца. За отсутствием места я никак не могу обсудить здесь все существенные работы по вопросу о феноменологическом подходе или изучению витгенштейновских «форм жизни» в истории и социологии науки (таких авторов, как Д. Блур, Г. Коллинз, М. Линч, Э. Пикеринг, Т. Ленуар и др.). См. дискуссионный том под редакцией Пикеринга [32].

га и физика-теоретика, проживающих в одно и то же время в одной стране, не говоря уже о разном времени и разных странах.

В той мере, в какой субъективные переживания повседневности одним человеком разделяются другими людьми, в той мере, в какой приписанные ценности и смыслы одинаковы для нескольких людей, жизненный мир оказывается интерсубъективным и поддается изучению. Пока мы пытаемся объяснить научную деятельность какого-то человека его воспитанием в детстве, мы строим гипотезы в области психологии. Пока мы говорим о влиянии идей времени на научные идеи вообще, мы пребываем в области метафизики. Когда же мы можем показать связь воспитания и быта определенной социальной группы с практикой ее научной деятельности, мы оказываемся в пределах социологии. В этом случае мы изучаем определенную форму жизни со свойственным ей жизненным миром.

Очертим кратко возможности изучения жизненных миров науки на российском материале и те работы, которые ведутся в этом направлении. Как это бывает, некоторые исследования приобретают определенное направление, еще не имея языка описания и подхода, которые существуют для них. В истории физики, в исследовании советских атомного и термоядерного проектов Г. Е. Горелик вплотную подошел к тому, что можно назвать жизненным миром создателей этих проектов. В истории биологии и охраны природы проблема жизненного мира поднялась на поверхность в исследованиях А. Ю. Стручкова, Ф. Р. Штильмарка и моих собственных*.

История российских заповедников и природоохранного дела, которой у нас занимается Ф. Р. Штильмарк, связана с историей такой группы, как биологи-охотоведы. Биолог-охотовед — не только образование и профессия, но и определенный образ жизни, который коротко называют лесным или таежным. Именно на этот образ жизни ориентируется человек, выбирающий профессию охотоведа. Видимо, это верно для любой страны, где еще сохранились безлюдные лесные просторы: американец и канадец, занимающиеся охотоведением, так же, как их русский коллега, выбирали себе профессию по образу жизни. «Таежный» образ жизни был выбором не только охотоведов, но и многих академических зоологов, деливших жизнь между лесом и городом. И в этом случае можно говорить об определенной форме жизни.

Биологи «таежного» образа жизни влияли не только на развитие заповедников и заповедного дела в лесной зоне России, но и на развитие зоологии и экологии в стране. Романтика «таежного» образа жизни широко распространялась среди молодых биологов. Распространялась целостная культура — с традициями, ценностями и фольклором. Создавалась и воспроизводилась она в клубах и кружках юных натуралистов. Одной из эффективных сетей распространения были заповедники, в которые ездили почти все студенты, интересовавшиеся зоологией.

Жизненный мир таежных зоологов основан на их таежном быте, воспринятом и осмысленном в свете литературных представлений о североамериканских трапперах и индейцах. Практика жизни охотника в тайге оказывается неотделимой от ее осмысления. Представления о природе и охране природы, о предмете своих научных исследований, о приоритете тем и ценности тех или иных подходов оказываются укорененными в этом жизненном мире.

* Заключительная часть раздела во многом основана на обсуждении затронутых проблем с А. Ю. Стручковым и Ф. Р. Штильмарком. Мы планируем совместную публикацию статей, описывающих соответствующие формы жизни. Следует, однако, отметить, что названные авторы не несут ответственности за предлагаемую здесь интерпретацию и язык, с которым я подхожу к материалу.

Особый интерес представляет изучение формирования традиции в 1920-х и 1930-х гг. в Москве и реконструкция жизненного мира группы «таежных» биологов, сложившейся в это время. Именно этим периодом на биографическом материале некоторых таежных зоологов (в частности, В. В. Раевского и Л. Г. Капланова) занимается Ф. Р. Штильмарк. Им собран ценнейший архивный материал и устная история, которые несомненно позволяют реконструировать живую историческую картину (см. [33]).

Зоолог Вадим Вадимович Раевский (1909—1947) в Кондо-Сосвинском заповеднике (Западная Сибирь)



↑
В 1934 г., вскоре после переезда из Москвы. «Мне кажется, что это один из ... героев Джека Лондона», — так описал свое первое впечатление о нем ботаник заповедника К. В. Гарновский.

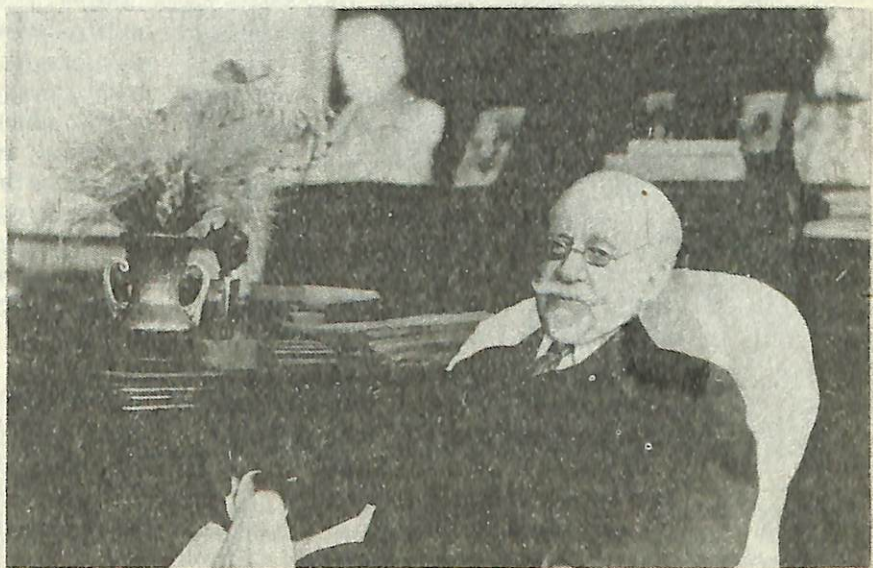
«7 августа 1939 г. «Тут он не случайный, временный работник, который легко мог бы перебраться на другое место. Для Раевского это немислимо. Раз навсегда полюбил он Кондо-Сосвинский заповедник и отдал ему всего себя. Этот край стал для него второй родиной, лучшим местом на земле, которое нужно сберечь, сохранить в том виде, в каком он был и есть» (К. В. Гарновский).

Жизненный мир зоологов, занимавшихся охраной природы в первой четверти XX в., реконструируется в работе А. Ю. Стручкова, посвященной А. П. Семенову-Тян-Шанскому, М. Н. Римскому-Корсакову и их коллегам (один из аспектов его работы освещен в [34]). Идеал «близости к природе» и представление о ценности природы у этих ученых имеют иной характер, чем у «таежников». Радикально различаются их быт и культурные ресурсы, используемые при осмыслении повседневности. Охота, которой увлекался А. П. Семенов-Тян-Шанский, была занятием русского джентльмена, а не траппера. Повседневность этих ученых окрашена в эстетические и этические тона, значения жизненного опыта

Зоолог, поэт и публицист Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (1866—1942)
в характерной для него обстановке



↑
19/II 1911 г.
Квартира Семеновых на Васильевском острове. А. П. выступает на юбилейном обеде по случаю 50-летия крестьянской реформы в России, состоявшейся во многом благодаря его отцу, П. П. Семенову-Тян-Шанскому (на снимке сидящему вторым справа)



→
22/IX 1940 г.,
в той же квартире

оказываются этическими и эстетическими. Охрана природы и сама природа оказываются рядоположены искусству (живописи, поэзии, опере), коллекционированию предметов искусства и насекомых, явлениям субъективного эстетического и религиозного опыта.

При советской власти в процессе социалистической реконструкции эти ученые столкнулись с новым поколением людей и хозяйственно-преобразовательским подходом к природе. Новый подход победил не только потому, что за ним была политическая поддержка правительства. Сама форма жизни, которой был присущ эстетико-этический подход к природе, была разрушена социальными преобразованиями советской власти. Новый подход к природе был укоренен в быту новых советских людей и органично связан с их жизненным миром, возникающим из их «социалистического» бытастроек и реконструкций.

Близко к работе А. Ю. Стручкова стоит мое исследование жизненного мира энтомологии в России. Многие имеют представление об эстетике энтомологии и привлекательности коллекционирования бабочек по прозе Владимира Набокова. Набоков в своих воспоминаниях «Другие берега» дает хорошее введение в мир российской аристократической энтомологии. Начав как молодой любитель-эстет, он работал впоследствии куратором в музее и опубликовал серию солидных работ по систематике бабочек [35]. Набоков получил первые уроки ловли бабочек в семье: это было занятие, достойное джентльмена. В России второй половины

XIX — начала XX вв. именно богатые любители были не только крупнейшими коллекционерами, но и ведущими специалистами по систематике жуков и бабочек.

В этом явлении безусловно нет ничего специфически русского. Это международный феномен энтомологии XIX—начала XX вв., в которой неотличимы друг от друга джентльмены-любители, богатые коллекционеры и зоологи-профессионалы. Бабочки или жуки в жизненном мире этих людей оказываются эстетическими объектами, подобно картинам и гравюрам. Сама естественная история насекомых в этом мире кажется ближе к истории искусств, нежели к исследованию иных животных, не имеющих эстетического значения.

Жизненный мир, в котором рядоположены природные объекты и эстетические артефакты, определял и научные воззрения. Эстетическое видение природы оказывалось для людей та-



Обложка журнала «Harvard Magazine» за июль—август 1986 г. с фотографией Владимира Набокова, который в 1942—1948 гг. был куратором коллекции бабочек в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета.

кого жизненного мира несовместимо ни с дарвинизмом, ни с так называемым «популяционным мышлением». Типологическое мышление и поиски имманентных законов эволюции формы оказываются укоренены в воспитании и быте этномолога-джентльмена. Исчезновение же типологизма и вся смена концепций в систематике связаны в первую очередь с отрицанием определенной формы жизни.

Заключение

После обсуждения проблемы жизненных миров науки вернемся к положению исторической антропологии в контексте исследований науки. Историческая антропология впускает в окно то, что науковеды только что решительно выставили за дверь. Я имею в виду проблему субъективной реальности и психологизацию социологии.

Современные англоязычные социологи и социальные историки науки, сколько бы они ни говорили о релятивизме, в своей повседневности *en masse* практикуют суровый объективизм. Отказ от психологических объяснений, вполне обоснованный, оборачивается «объективистскими» требованиями социологических объяснений в терминах личных и групповых интересов, политических установок и социального заказа. Для современного «релятивизма» в социологии науки характерна абсолютизация реальности, релевантной самим социологам науки — в первую очередь их собственной социальной реальности. Осудив объективизм науки, нынешняя социология науки сохранила его для себя в полной мере.

Часто социолог, объясняющий конструирование знания учеными, как бы повторяет ученого, разоблачающего фокусника или спирита. Иногда мне кажется, что современная социология, а вслед за ней и история науки, имеют своим подтекстом какое-то разоблачение и осуждение науки прошлого и настоящего. Наука представляется своего рода «священной коровой» предыдущих поколений, которую надо пустить под нож постмодернизма. Голос историка и социолога звучит как голос прокурора или морального судьи, говорит ли он о связи науки и военной машины, о соглашательской политике советских руководителей науки, о колониализме и науке или об «объективистских трюках» научной риторики. Это характерно для обеих сторон океана. В России это судилище возникает на почве осуждения коммунистического прошлого и оправдания отдельных людей. В англоязычном мире есть какая-то своя почва для подобного разбирательства — судят капитализм и современное общество в целом.

Историческая антропология важна уже тем, что она в наименьшей степени стремится к разоблачению. Она ставит задачу понимания других культур и других форм жизни. И тем самым признает право этих форм жизни на существование. Жизненный мир зоолога XIX в. коренным образом отличается как от жизненного мира физика XX в., так и от нашего жизненного мира. Не только мотивация поступков, но и субъективная реальность, в которой эти поступки совершаются, могут быть отличны от современных.

Освободившись от преклонения перед наукой, мы можем теперь постараться ее понять. Задача исторической антропологии собственно и состоит в том, чтобы без гнева и пристрастия разглядеть сквозь время человеческое лицо науки и техники.

Список литературы

1. Александров Д. А., Кременцов Н. Л. Опыт путеводителя по неизведанной земле. Предварительный очерк социальной истории советской науки // ВИЕТ. 1989. № 4. С. 67—79.
2. Гуревич А. Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // Вестник АН СССР. 1989. № 7. С. 71—78.
3. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
4. Thompson E. P. Anthropology and the Discipline of Historical Context // Midland History. 1972. V. 1. P. 41—55.

5. Davis N. Z. Anthropology and the History in the 1980s // Journal of Interdisciplinary History. 1981. V. 12. P. 267—275.
6. Burke P. The Historical Anthropology of Early Modern Italy. Essays on perception and communication. Cambridge, 1987.
7. Science and Cultures. Anthropological and Historical Studies of Science. Dordrecht, 1981.
8. Traweek Sh. Beamtimes and Lifetimes. The World of High-Energy Physicists. Cambridge, Mass. and London, 1988.
9. Abir-Am P. A historical ethnography of a scientific anniversary in molecular biology: the first protein X-ray photograph (1984, 1934) // Social Epistemology. 1992. V. 6. № 4. P. 323—355.
10. Shapin S., Schaffer S. Leviathan and The Air-Pump. Princeton, 1985.
11. Shapin S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England // Isis. 1988. V. 79. P. 373—404.
12. Biagioli M. Galileo Courtier. Chicago, 1993.
13. Kohler R. E. Drosophila and Evolutionary Genetics: The Moral Economy of Scientific Practice // History of Science. 1991. V. 29. P. 335—375.
14. Bourdieu P. The Logic of Practice. Stanford, 1990.
15. Эйхенбаум Б. М. Литературный быт // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987.
16. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
17. Adams M. B. Science, Ideology and Structure: The Koltsov Institute, 1900—1970 // Lubrano L., Solomon S., eds. The Social Context of Soviet Science. Boulder, 1980. P. 173—204.
18. Adams M. B. Sergei Chetverikov, the Koltsov Institute, and the Evolutionary Synthesis // Mayr E., Provine W., eds. The Evolutionary Synthesis. Cambridge, 1980. P. 242—278.
19. Бабков В. В. Московская школа эволюционной генетики. М., 1985.
20. Артемов Н. М., Калинина Т. Е. Сергей Сергеевич Четвериков. М., 1994.
21. Четвериков С. С. Проблемы общей биологии и генетики (воспоминания, статьи, лекции) Новосибирск, 1983.
22. Goldschmidt R. B. Portraits from Memory. Recollection of a Zoologist. Seattle, 1956.
23. Бабков В. В. Н. К. Кольцов: борьба за автономию науки и поиски поддержки власти // ВИЕТ. 1989. № 3. С. 3—19.
24. Biagioli M. Galileo's System of Patronage // History of Science. 1990. V. 28. P. 1—62.
25. Biagioli M. Galileo the Emblem Maker // Isis. 1990. V. 81. P. 230—258.
26. Moran B. German Prince-Practitioners: Aspects in the Development of Courtly Science, Technology and Procedures in the Renaissance // Technology and Culture. 1981. V. 22. P. 253—274.
27. Alter P. The Reluctant Patron. Science and the State in Britain, 1850—1920. Oxford, 1987.
28. Копелевич Ю. X. Возникновение научных академий: середина XVII — середина XVIII в. Л. 1974.
29. Ольденбург Е. Г. Из дневниковых записей (1925—1930) // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 7. С. 638—647.
30. Синская Е. Н. Воспоминания о Н. И. Вавилове. Киев, 1991.
31. Левина Е. С. Трагедия Н. И. Вавилова // Репрессированная наука. Л., 1991. С. 223—239.
32. Science as Practice and Culture. Chicago, 1992.
33. Штильмарк Ф. Р. Страницы ненаписанного романа (жизнь и деятельность зоолога Вадима Раевского) // Югра. 1993. № 9. С. 17—22. № 10. С. 15—21.
34. Struchkov A. Yu. Nature Protection as a Moral Duty: The Ethical Trend in the Russian Conservation Movement // Journal of the History of Biology. 1992. V. 25. P. 413—428.
35. Александров Д. А. Натуралист Набоков // ВИЕТ. 1988. № 2. С. 119—123.

ДЖ. РОУЗ (США)

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ?*

Настоящая статья имела своим началом лекцию, которую я был приглашен прочесть в Центре критического анализа современной культуры Университета Ратгерс (штат Нью-Джерси) в октябре 1991 г.; название ее было — «Являются ли культурологические исследования научного знания враждебными науке?». Последующей работе над статьей помогла стипендия, предоставленная Программой по исследованиям в области истории и философии науки Национального Фонда Науки США, о чем я с благодарностью здесь упоминаю.

За последние два десятилетия междисциплинарные исследования естественных наук были радикально трансформированы социологией научного знания. Социологические взгляды, развитые в рамках эдинбургской «сильной программы»**, батского конструктивистско-релятивистского подхода***, дискурс-анализа науки, а также этнографических исследований научных лабораторий, поставили под вопрос самые основания постпозитивистской междисциплинарной системы «истории и философии науки». Многие аспекты научной деятельности, высвеченные этими социологическими традициями, оказались столь существенны, что ни одна из последующих интерпретаций науки не могла обойти их. Так, эти «социал-конструктивистские» исследования привлекли свежее внимание к эпистемическим значениям лабораторных практик и оборудования, к присутствию элементов конфликта и неготивации на всех этапах оформления результатов научной работы, к процессам формирования и размывания дисциплинарных границ, а также к практической проницаемости любой «мембраны», отделяющей область «внутренних факторов» науки. Кроме того, конструктивистские исследования эффектно оттенили элементарную трудность делания науки: обеспечения надеж-

* Перевод статьи: Joseph Rouse. What Are Cultural Studies of Scientific Knowledge? // *Configurations*. 1993. Vol. 1. № 1. P. 1—22. Редакция выражает благодарность издательству *The Johns Hopkins University Press*, Обществу *The Society for Literature and Science* и журналу *Configurations* за предоставление разрешения на перевод и публикацию статьи.

** «Сильная программа» (*Strong Programme*) — одна из наиболее известных исследовательских программ в области социологии научного знания, сформулированная Дэвидом Блутом (*David Bloor*). Ее основные методологические принципы таковы: (1) социологи науки должны, подобно ученым-естествоиспытателям, стремиться к каузальным объяснениям; (2) они должны быть беспристрастными к истинности или ложности утверждений о знании, т. е. исследовать научные заблуждения наряду с научными истинами; (3) их объяснения науки должны быть симметричными — т. е. они должны объяснять социологически не только те представления, которые принято считать научными заблуждениями, но и те представления, которые принято считать истинными в науке; (4) социологи науки должны придерживаться принципа рефлексивности — т. е. отдавать себе отчет в том, что их собственные представления также могут быть объяснены социальными факторами. Блут рассматривал свою программу как способ, посредством которого наука может научным образом познать себя (см. *Bloor D. Knowledge and Social Imagery*. L., 1976). «Сильная программа» Блута часто называется «эдинбургской» по причине того, что в 1970-х — начале 1980-х гг. в Эдинбургском университете «под ее знаменами» работали такие известные исследователи науки, как Барри Барнс (*Barry Barnes*), Дэвид Эдж (*David Edge*), Дональд Маккензи (*Donald MacKenzie*), Стивен Шейпин (*Steven Shapin*) и Эндрю Пикеринг (*Andrew Pickering*). — Прим. перев.

*** «Батский конструктивистско-релятивистский подход» (*the Bath constructivist-relativist approach*), также известный как «эмпирическая программа релятивизма», — еще одна влиятельная исследовательская программа в социологии науки, сформулированная Гарри Коллинзом (*Harry Collins*) из Батского университета (см., например, его статью: *Collins H. An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scientific Knowledge // Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science* / Ed. by K. D. Knorr-Cetina and M. J. Mulkay. L., 1983.). Работа в рамках этого подхода включает три основных этапа: (1) демонстрацию интерпретационной пластичности (*interpretative flexibility*) научных фактов и теорий; (2) установление механизмов закрытия прений (*closure mechanisms*) о возможных интерпретациях фактов и теорий; (3) выяснение того, каким образом эти механизмы формируются более широкими социальными процессами. — Прим. перев.